



«ОТВОРИ мир в душе и пошли его людям». Эту фразу я нашла в книге коротких рассказов Федора Абрамова уже после того, как телевидение показало его вечер из Останкинской студии. Вспоминается, с какой серьезностью отнесся Абрамов к предстоящей работе. Он признавался, что ему хочется поговорить с телезрителем именно о жизни, о том, что мучает его самого, не дает спать по ночам... Он говорил также, что расценивает этот будущий вечер как ответы на письма своих читателей, на их повторяющиеся, вечные вопросы. — Раньше, — сетовал он, — для меня было непреложным зако-

свой писательский взгляд на эту проблему. Когда вечер начался, я сидела в самом дальнем ряду зала. Читатели были активны, Абрамов отвечал на каждый вопрос обстоятельно, порой даже слишком многословно, но меня не покидало ощущение какого-то разочарования. «Наверное, он сразу взял неверный тон, — думалось мне. — Напрасно, ох как напрасно пригласили мы на вечер литераторов и актеров...» Казалось, Абрамов все время помнит, что в зале сидят критик такой-то, актер такой-то... Многое он как будто говорил специально для них, отсюда излишняя подробность в ответах. В середине ве-

Татьяна ЗЕМСКОВА

СОТВОРИ МИР

Записки
тележурналиста

ном отвечать на все письма читателей. А сейчас то ли силенок поубавилось, то ли нагрузок разных и суевы поприбавилось, но многие письма я стал опускать...

Предварительные переговоры мы вели по телефону. Голос у Абрамова низкий, глуховатый, а говор — северный, чуть окающий.

Критических и литературоведческих материалов об Абрамове много, мне особенно запомнились слова критика И. Дедкова, они совпадали и с моими мыслями:

«...Ф. Абрамов — художник сдержанный; может быть, самый сдержанный во всей «деревенской прозе». С ним редко случается, чтобы он дал волю своим печали, своему умилению. Это жизнь, и люди в ней бывают «несдержанными», кричат и плачут. Он только следует за этой «несдержанностью» жизни, он иногда внимательнее к ней, чем другие. Слышит там, где другие не слышат».

Когда же я пыталась сформулировать для себя главную тему произведений Абрамова — романов и повестей, — здесь мне помог сам автор.

Ф. Абрамов как-то говорил, что его романы посвящены разгадке русского характера, великой стойкости и душевной щедрости, красоте и радости самопожертвования во имя ближнего. ...И вот настал этот вечер. Зал наполнился быстро, свободных мест не было.

Абрамов вышел на сцену. Он невысоким ростом, худощав, лицо — молодое, гладкое, без единой морщинки, только тяжелый взгляд выдает возраст. На нем строгий костюм и розовая рубашка с галстуком. Держался он свободно, и только чуть заметное дрожание рук, когда он собирал записки со стола, выдавало волнение. А записки и вопросов было много, люди порой даже перебивали друг друга, спрашивали обо всем на свете.

Действительно, от писателя сегодня ждут не только исповеди и проповеди, но и познаний во всех сферах человеческого бытия. Писатель на телевидении — и художник, и публицист, и социолог, и философ... Поэтому, когда Абрамову задали вопрос «Как представляется Вам будущее деревни и русского крестьянина?», он даже пошутил:

— Проще всего вам обратиться с этим вопросом к министру сельского хозяйства, можно также обратиться к нашим социологам, ну и, конечно, можно почитать наших фантастов... Потом Абрамов стал излагать

черу от усталости и напряжения писатель стал перескакивать с одной темы на другую, даже речь его «стала», расцвела какими-то необязательными словечками, особенно часто он повторял слово «само», по-северному не договаривая последней буквы.

Несогласия вызывала у меня да и у моих товарищей, сидящих рядом, категоричность и непримиримость, с которой говорил Абрамов о некоторых явлениях нашей жизни. Порой он резко повышал голос, отставив свою точку зрения, считая ее и только ее единственно верной.

Все мы считали прошедший вечер не слишком удачным. Сам Федор Александрович, посмотрев отснятый материал, тоже заметно огорчился. Мы даже подумывали о том, не переписать ли заново какие-то места. Решили не спешить. Абрамов уехал в Ленинград, мы начали работать... С Абрамовым созванивались постоянно, согласовывали сокращения, причем во многом он не соглашался с нами и до конца отстаивал дорогие ему абзацы, предложения, даже слова.

— Вот увидите, — вдруг сказал мне режиссер Лев Елагин, — передача получится интересной и неординарной, о ней будут говорить, может быть, даже спорить.

Монтируя передачу, мы заметили, что и наши видеинженеры порой неотрывно смотрели в свои мониторы, внимательно слушая писателя. Один из них, совсем молодой, даже стал переписывать что-то в блокнот.

Случилось, что образ Абрамова на телеэкране — его голос, характерные резкие интонации, неожиданные повороты мысли стали преследовать и меня. Особенно то место, где Абрамов отвечал на вопрос о большей радости в его жизни:

— Радостей в жизни бывает много: радость — это когда выходит книжка, когда мысль хорошая придет в голову, когда встретишь интересного человека... Все это радости. Но самая большая радость в моей жизни — это то, что я прошел войну и остался жив. (Здесь его голос становится очень тихим и глазами он обводит зал, в котором тоже воцаряется звенящая тишина.) Ребята, которые ушли со мной на фронт, — их нет в живых. Но они и мертвые помогают мне жить. (Голос его поднимается, а взгляд становится

как будто невидящим, слепым, и он снова переходит на шепот.) Потому что сколько бывает огорчений, невзгод в жизни, но вспомнишь (опять мощное crescendo и пауза — все интонационные переходы Абрамова можно было бы записать на нотную бумагу), — но вспомнишь, что ты остался в живых, а все твои товарищи погибли... Погибли, может быть, самые талантливые, может быть, гениальные ребята, поэтому что подсчитано, что погибло 20 миллионов... А кто подсчитал, сколько погибло талантов, гениев? Как осиротела из-за этого, как оскудела наша советская земля! И поэтому для меня всегда первое утешение, что я живу, и я должен жить и работать не только за себя, а и за тех, кого сегодня нет!

Зал несколько секунд оглушенно молчит и раздражается аплодисментами.

Или другое место постоянно вставало у меня в памяти. Писателя спросили, что заставило его написать открытое письмо землякам — «Чем живем, кормимся?».

Он отвечал на этот вопрос подробно, а в конце заметил, что многие не поняли, зачем такое письмо нужно было публиковать в газете да и еще выносить на обсуждение. Он волновался, ходил из одного края сцены в другой, размахивая руками и ероша волосы:

— Я должен сказать, что это письмо не было понято и писателями. Многие просто обиделись на меня: «Ты с народа спрашиваешь, а надо с начальства...» Я говорю: нет, милеша... все это так, с кого в первую очередь спрос за неадекватность, безалаберность? Конечно, в первую очередь с дирекции совхоза и так далее... Но имеет ли при этом какое-то отношение к делу рядовой человек? Он за что-нибудь отвечает или нет? Или — «моя хата с краю, я ничего не знаю?» (Абрамов заговорил быстро, горячо, он захлебывался словами.) И ведь по этому принципу многие и живут. Идешь по деревням, при чем тут моя Верхкола, Верхкола — красивейшая деревня... (Абрамов размашистым шагом ходит по сцене.) Идешь по Костромской области, по другим областям, порой по колону в грязи... А когда подходишь к домику какого-нибудь колхозника — на его усадьбе все устроено, не хватает только доски: «Усадьба обр-разцового порядка или отлично-

го самообслуживания». Знать, правильно: с руководства, с начальства надо спрашивать, на то оно и начальство, за то оно и денежки получает. Но до тех пор, пока мы сами, каждый из нас, каждый рядовой человек не поймет, не установит для себя непреложным законом, что все дела — это мои дела, что дом большой, наш дом строится только общими усилиями, по крайней мере дом-деревня, до тех пор мы ничего не изменим... Вот каков был смысл этого письма. И этой идеи народной инициативы, активности я и придерживаюсь. И если есть такой писатель Абрамов, то я очень коротко сформулировал бы его кредо: будить, всеми силами будить человека в человеке...

Были и другие фрагменты, монологи, отдельные фразы, к которым я невольно возвращался, повторяя их чуть ли не наизусть.

Что же произошло? Почему то, что беспокоило во время записки, вдруг стало приниматься безоговорочно на экране? Наверное, секрет заключался в том, что телекамеры вплотную приблизились к нам лицу писателя. На экране оно жило своей собственной жизнью, а взгляд Абрамова — тяжелый, обращенный как бы вовнутрь, необыкновенно притягивал к себе, останавливал, как-то приговаривал человека к месту и заставлял слушать. Излишняя эмоциональность, а порой и резкость, которые могли раздражать в зале, на экране оборачивались искренностью, болью, неистовостью — свойствами, согласитесь, редкими для выступающего по телевидению.

Существует уже известный стереотип поведения человека на экране. Обычно выступающему говорят: «Держитесь спокойно, говорите негромко, голос не форсируйте и помните, что интонация ваша должна быть доверительной, интимной, ведь вы приходите к зрителю домой...»

Абрамов не пришел, а вошел в дом зрителя своим страстным словом, своей радостью, печалью, болью, своим волнением. С ним можно было спорить, во многом не соглашаться, доказывать совсем обратное, но он будил зрителя, он тормошил его, заставлял сегодня же, сейчас же как-то что-то делать, за что-то драться.

Я помню, что на следующий день после премьеры в редакции позвонил один из зрителей. «...Я ветеран войны, — пред-

ставился он. — Когда я слушал Абрамова, я плакал, хотя человек далеко не сентиментальный, прошел войну... Особенно меня поразило, когда он говорил об истории нашего государства...»

А дело было так: Абрамову пришла записка о его романе «Дом», заключающем эпопею о Прыслиных: «Зачем в романе «Дом» вставлена новелла о Евдокии-великомученице? Какая у вас была цель?»

— В жизни двух стариков — Калины Ивановича и Евдокии Савельевны, — ответил Абрамов, — преломилась история нашего государства со всеми взлетами, порывами, мечтами, но и трудностями... И когда я завершил роман «Дом», я не мог не подумать об этом, потому что корни многих наших просчетов, ошибок, недоразумений — в прошлом...

Дело в том, что сегодня вокруг истории нашего государства на Западе идет очень острая, непрерывная борьба. Что, эти шестьдесят с лишним лет — сплошная радость, сплошное шествие к лучезарному будущему? Или это сплошная чернота? Два вот таких резко противоположных взгляда высказываются сегодня на Западе. Зачем же нам уступать разговор о нашей истории нашим противникам и делать вид, что этого разговора не существует? Нет, он существует! И мы должны включиться в этот разговор. И сама я придерживаюсь вот какого взгляда: да, у нас были просчеты, были трудности, были жертвы, жертвы неоправданные, напрасные, но были и великопленные порывы, были взлеты... И хотя люди моего поколения и стоящего с ним рядом часто ходили в одних штанах, в одной рубашке, но это были великаны духа, красавцы по своему духу! И тот же Калина Иванович — старый большевик, который прошел через все... Пусть он идеалист, пусть он мечтатель, пусть он Дон Кихот, но это Дон Кихот, порожденный нашей советской действительностью! И чего же тут стыдиться? Не случайно и Михаил, и все братья Прыслины ходят к нему на исповедь, и хоть он и изрекает одно-два слова, но больше, его слушают, потому что перед ними живая история... Мне кажется, это важно.

В тот же день раздался еще один звонок:

«С вами говорят из московского научно-исследовательского института. Благодарим вас за встречу с Абрамовым... Весь наш институт считает, что телевидение должно как можно чаще отпекать именно таких людей». Так и сказал — «отпекать»...

Передачу долго обсуждали. — Как интересно сказал Абрамов о будущем деревни! — говорил обозреватель на общетелевизионной летучке.

А говорил писатель о том, что если «русская деревня исчезнет с лица земли, утрата и связь человека с живой природой, а эта утрата может обернуться очень серьезными последствиями... Потому что земля, животные, общение с ними — это один из главных резервуаров, из которых черпается человечность. И если исчезнут эти связи с землей и миром природы, эти отношения любви, доброты, не отразится ли это вообще на самой природе человеческой и не поведет ли к какому-то очень серьезным изменениям национального характера?»

И, конечно, было много писем. Телезрительница из Новосибирской области пишет:

«...Спасибо, что дали возможность так близко познакомиться с этим замечательным человеком, о котором у нас в селе говорят: «У него вся душа «нараспашку». Если бы все с кем вы организуете встречи, были такими же искренними, как Абрамов... Наверное, у многих из нас перевернулось бы что-то в душе и не один бы, наверное, задал себе вопрос: «А так ли, а правильно ли я живу?»

Из Москвы пишет старый солдат:

«Особенно хорошо говорил Абрамов об истории государства, о великом духом, о роли и месте нашей женщины, о молодежи... Решительная борьба с пассивностью, с равнодушием в нашей жизни еще слаба, как и самоотречение само-го себя... Мне пришлось прожить с боями всю войну, и сейчас очень больно видеть, как губят лес, реки, природу... Вот прожитая жизнь, и очень тяжело идет дальше, и много обид, разочарований, может, оттого, что болел и стар... Как хочется излить душу хорошему, правильно понимающему человеку! Болели сделали вечно, но, слушая Абрамова, ничего не мог возразить, как все хорошо, по делу сказано...»

Прошло время, а письма, адресованные Абрамову, продолжали приходить в редакцию. Читая их, я снова пыталась понять, что же добавил экран телевизора к портрету писателя?

На экране устно слово не только дополнялось, но и постоянно выверлялось зрительным образом — взглядом, мимикой, жестом, интонацией. И этот зрительный образ нигде не фальшивил, не обманывал... Вроде бы слишком категорично судил о чем-то Абрамов, но посмотрите, сколько боли в его глазах, как сжимает он губы, значит, он страдал свою точку зрения... Этому человеку можно было верить, ведь малый экран телевизора сразу обнажает неправду и фальшь, какими бы красивыми и гладкими фразами ни была бы она прикрыта. Но и это не все. Несмотря на то, что суждения Абрамова во многом были спорными — он и сам не скрывал этого, — несмотря на то, что он много говорил о недостатках, о трудностях нашей жизни, он не занимался голым критиканством, он решительно и уверенно предлагал зрителям свою позитивную программу.

«Давайте работать, делать свое дело хорошо, выполнять свои обязанности на совесть», — словно бы взывал он к каждому.

Да и сам он на этой телевстрече не просто разговаривал с людьми — он работал: снял пиджак, расслабил ворот рубашки, он скорее походил на председателя колхоза, нежели на писателя. На экране было видно, как напряженно рождается его мысль, как мучительно порой подбирает он слово.

Абрамов часто обращался к зрителям со словами: «Братцы мои...» Говоря так, он останавливал на каждом лице свой неподвижный взгляд, как будто хотел сказать другие, более весомые и серьезные слова, которыми озаглавил свой первый роман: «Братья и сестры... Он старался объединить самых разных людей, сидящих у телевизоров в этот вечер, хотя бы тем, что и их вовлек в душевную работу, означающую, по его определению, «каждодневное строительство собственной души».

Когда ему задали традиционный вопрос о наиболее значительных произведениях современной литературы, он и здесь сумел не развести писателей по направлениям и жанрам, а собрать вместе. «Сейчас существует точка зрения, — говорил Абрамов, — что центр мировой литературы переместился в Латинскую Америку... Мне хочется самым решительным, самым горячим образом защитить те ценности, которые вырабатывает советская литература! И как в XIX веке центр мировой литературы находился в России, так и теперь он остается пребывать в ней...»

И, наверное, успеха выступления Федора Абрамова можно объяснить тем, что на протяжении всей встречи с читателями и сам он — писатель-современник — утверждал эти духовные ценности своей литературы, своего народа.

И как горько сознавать теперь, что это была одна из последних работ писателя.

«Сотвори мир в душе и пошли его людям...»

И сейчас, когда я пишу эти записки, так и стоит передо мной телевизионный портрет Федора Абрамова: его неподвижный притягивающий взгляд, его убежденное, неистовое слово.